

Юлий Айхенвальд

Достоевский



Юлий Айхенвальд

Достоевский

«Public Domain»

1913

Айхенвальд Ю. И.

Достоевский / Ю. И. Айхенвальд — «Public Domain»,
1913 — (Силуэты русских писателей)

ISBN 978-5-457-13371-6

«Уже одно то, что Достоевский, пловец страшных человеческих глубин, провидец тьмы, рудокоп души, пережил психологию смертной казни, невероятный ужас ее ожидания, – одно это делает его существом inferнальным, как бы вышедшим из могилы и в саване блуждающим среди людей живых; а в России, на празднестве палачей, это придает ему еще трагическую современность и зажигает вокруг него особенно зловещий ореол. Пусть казнь стала теперь явлением бытовым и частым до пошлости, это все-таки не сделало ее менее страшной...»

ISBN 978-5-457-13371-6

© Айхенвальд Ю. И., 1913
© Public Domain, 1913

Юлий Исаевич Айхенвальд Достоевский

Уже одно то, что Достоевский, пловец страшных человеческих глубин, провидец тьмы, рудокоп души, пережил психологию смертной казни, невероятный ужас ее ожидания, – одно это делает его существом inferнальным, как бы вышедшим из могилы и в саване блуждающим среди людей живых; а в России, на празднестве палачей, это придает ему еще трагическую современность и зажигает вокруг него особенно зловещий ореол. Пусть казнь стала теперь явлением бытовым и частым до пошлости, это все-таки не сделало ее менее страшной. И часто, когда приходит новая весть о ней, невольно вспоминаешь, какой роковой момент составляла она в его внутреннем мире и как неотступно возвращался он к ней в своих произведениях. Он не только в праведные уста князя Мышкина вложил эти волнующие речи о «судорогах», до которых доводят на эшафоте человеческую душу, о безмерном «надругательстве над нею» («нет, с человеком так нельзя поступать!»), – он, не боясь смешного, заставил и пьяного, плутоватого чиновника Лебедева молиться за упокой души графини Дюбарри (казалось бы, что ему эта Гекуба?) и из всячески далекой для Лебедева французской истории приблизил к его сознанию и совести ту сцену, когда подталкивают Дюбарри к ножу гильотины, а она, «на потеху пуасардок парижских», кричит: *encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!* «Что и означает: „минуточку одну еще повремените, господин бурро, всего одну!“ И вот за эту-то минуточку ей, может, Господь и простит, ибо дальше этого мизера с человеческой душой вообразить невозможно... От этого графининово крика об одной минуточке, я как прочитал, у меня точно сердце захватило щипцами».

И собственное сердце Достоевского было тоже защемлено этими щипцами людской муки, и нельзя будет его вполне понять, если мы забудем, что в самой жизни испытал он смерть и что это – единственный писатель, который творил после того, как он видел мир и слушал свою душу с высоты эшафота.

Под черным знаком Достоевского, в его стиле движется наше время, Достоевского имеет оно своим патроном, или своим живым эпитафием, потому что безумные содрогания и трепет, какие здесь и там переживает теперь человеческое существо, – они-то и образуют стихию творца «Бесов». Как некий колдун проникновенный, наворожил он России революцию. Она ему к лицу, как он – к лицу революции. Именно ее, немолчную тревогу и смуту, душевный хаос, считает он нашей первичной природой. Человек с воспаленной душой, писатель катастроф, психолог метаний, он не рисует себе людей спокойными и благообразными, однажды навсегда устроенными: нет, глаза его раскрыты на роковую незаконченность, на постоянное беспокойство и волнение тоскующего и крамольного духа. Человек для него вовеки неготов и неопределим; как и для Тютчева, мир для него не мирен: правду моря и сердца можно узнать только в бурю. Смута кажется ему обычным состоянием души; болезнь – это норма. Нельзя говорить, что герои его романов – природы исключительные, патологические: сам он их такими не признает, сам он думает, что именно в этой исключительности – правило, что в этой недужной обостренности и возбужденности духа и состоит жизнь каждого нормального сердца, если только оно бьется не для того, чтобы механически отсчитывать пульс существования, не для того, чтобы служить мерным маятником бесчисленных дней и ночей. Достоевскому ненавистен буржуа, который готов, у которого «запасено готовых мыслей, как дров на зиму»; ему ненавистен и прототип Кармазинова – за то, что он слишком изящен и складен, похож на новеллу своих сочинений и внешне разрешает трудные проблемы жизни – например, от скорбей и от болей России уезжает из России. Автор «Преступления и наказания» сам ни от чего не уедет и мимо жизни не пройдет. Все коснется, болезненно коснется его души, и ничто не достанется ему легко и непринужденно.

Он не знает грации, и жизнь для него – тяжелая ноша. Он относится к ней слишком серьезно, он трудно живет. На нем, наследнике греха, больше, чем на всех других, почило исконное проклятие человечества: Достоевский не только в поте лица своего добывает себе хлеб – он зарабатывает себе и душу. И она ему дается очень дорого. Поэтому в других он не переносит легкости. В нигилизме, например, его, величайшего отрицателя, возмущает не самое отрицание, а то, что оно лишено трагедии. Против выстраданного, против религиозного безбожия он не восстает, он даже поклоняется ему и воплощает его в героическую фигуру Кириллова; но нигилизм, который с легким сердцем, походя, разрушает и опустошает, который делает жизнь плавной и плоской, без препятствий и без глубины, – такое мировоззрение вызывает у него только злобу и насмешку. Сам Достоевский мог бы позволить себе «гимны подземные», мучительную роскошь неверия, потому что веру свою создавал он себе кровавым потом. Он не просил пощады, не хотел жизненного удобства, готовых тропинок и равнины; ему претил социализм, он не бежал страдания, и не было для него высшим благом все то, что облегчает дела и дни человечества. Его характерная ненависть к адвокатам (факт, почерпнутый из его глубокой публицистики, которую он всегда претворял в психологию и которая поэтому является у него *sub specie aeternitatis* – эта ненависть объясняется не только тем, что у них – «нанятая совесть», но и тем главное, что они мелки, что они – поверхностные защитники человеческой души и снимают с нее преступление, как шапку. В своей профессиональности они механизмируют человека и никогда не видят, в чем истинная преступность и правда. Можно себе представить, какую личную вражду должен был питать судорожный писатель, терзающийся проблемой преступления и наказания, к законченной, аккуратной, нарядной фигуре защитника по профессии. Далее, если он так часто, и в качестве публициста, и в качестве художника, выступает против присяжных заседателей с их оправдательными приговорами, то это тоже имеет своей причиной поверхностную легкость оправдания. Кто возьмет себе право, кто дерзнет сказать человеку, что он не виноват? Между тем это говорят, и оправданный спокойно подымается со своей скамьи подсудимых и уходит, разрывая круг круговой ответственности и поруки, не обращая внимания на то, что везде клокочет общая безмерная вина и всякий виноват во всем. И, с другой стороны, как глубоко, как мудро правы те заседатели-мужички из «Братьев Карамазовых», которые за себя постояли и вынесли Димитрию обвинительный приговор. Это ничего не значит, что фактически не он убил отца: достаточно, что он хотел его убить. Во всяком случае, невыносима для Достоевского та поспешность и легкомысленность, с которой оправдывают от века виноватую человеческую душу. И бесспорно, что на своей мистической и мрачной высоте он с проклятием отверг бы знаменитый гуманный афоризм Екатерины и, не задумываясь, предпочел бы десять невинных осудить, чем одного виновного оправдать: до такой степени был он проникнут сознанием человеческой вины. В то же время он, конечно, не принимал и суда, который тоже не идет за пределы факта и для его установления роется в чужой душе. Суд бесстыден, и следователь в своем выпытывании истины, мнимой истины, грубо вторгается в самые помыслы своей жертвы.

Вообще, все эти обвинители и защитники, судьи и даже сами подсудимые – все они вращаются в области внешнего и проделывают свое жизненное дело равнодушно и неусердно. Они слишком здоровы и уравновешены. Между тем истинное человечество, то, которым только и интересуется наш автор, неисцелимо больно; да и не надо его лечить, подобно тому как чеховский Коврин, герой «Черного монаха», жаждал безумия, хотел галлюцинации, проклинал здоровье. Наш мир не таков, чтобы в нем можно было жить благополучно. Поскольку человек здоров, постольку он, для Достоевского, непричастен к событиям духа: только больной, одержимый достоин звания человека. Наше трепетное существо, брошенное в мировую пучину, не в силах сохранить покой и равновесие, даже если оно не испытало особых потрясений и несчастий: просто жизнь как жизнь, самый поток жизненных впечатлений уже

пугает и волнует нас, и только душа плоская и безучастная останется в ответ на эти впечатления не встревоженной и не смущенной. Человек у Достоевского слишком чувствует жизнь, он редко в состоянии ее выдержать, и действительность для него запутаннее, богаче, сложнее, чем это кажется другим. Правда, может воцариться в душе кроткая тишина и сделать из иного бунтовщика старца Зосиму или божьего странника Макара Ивановича («Подросток»), но раньше надо пережить великую тревогу, моральное нестроение или же, как Алеша Карамазов, свою революционную стихию перестрадать в своих родных. Это очень знаменательно, что самое спокойное, самое здоровое и мягкое произведение Достоевского – «Записки из Мертвого дома», не потому ли, что здесь перед нами – люди, уже отбывшие свое жизненное событие, уже пережившие свое парение и преступление и теперь нашедшие покой, хотя бы и каторжный? Но пока не достигнута эта пристань, где жизнь преломляется через призму мертвую, где видел писатель каторжника на цепи, прикованного к стене, – все потенциально больные, все взволнованные, и мир представляет собою грандиозный Бедлам. Мы еще не знаем света нормального, мы еще не видели естественного человека. Хаос не кончился. Если бы даже были усмирены и устроены стихии – не готовы души. Универсальное сумасшествие, бред и безумие вселенной, раздробляется на отдельные умы и вспыхивает здесь и там зловещими искрами, которые разгораются в пожар злодеяния и несчастья и порою воспаляют одновременно две головы, как это было с Мышкиным и Рогожиным над трупом Настасьи Филипповны. Если в людях, которые на первый взгляд нормальны, хоть несколько продлить или отклонить их душевные линии, если хоть несколько ярче разжечь те искры, которые тлеют под пеплом любого сердца, то в результате и получится то безумие, те дантовские круги нравственных болей и надрывов, которые развертываются в книгах Достоевского. Он, как никто, умеет приподнимать безмятежную завесу, скрывающую иные душевные организации, и показывает, что под нею «хаос шевелится». Трудно представить себе такого человека, хотя бы и тишайшего, в сердечной глубине которого он не подметил бы зародышей возмущения и помешательства. Ибо безумное – это и есть нормальное; и непобедимо обязательное безумие человеческих умов.

При таком общем взгляде на людей и жизнь естественно, что романы Достоевского являют зрелище, которому нет равного во всей мировой литературе. Они до такой степени исполнены страдания и недуга, что как-то совестно было бы прилагать к ним чисто эстетическое мерило, хотя он и редкий мастер изобразительности, хотя он и сочетает в себе нервную стремительность письма с удивительной силой расчета, так что искусно и ловко сплетает он все тонкие петли своего сложного повествования, сам нигде не запутается, ничего не забудет и уверенно сведет одно к одному, все многочисленные концы с концами; он – страстный, но он и хитрый, он себе на уме, на безумном уме. Сам автор упрекал себя в отсутствии чувства меры. Но когда думаешь о мере у него, то не следует забывать, что таблица мер здесь – своя, необычная. На какой-то специальной плоскости надо рассматривать его, за пределами нормальных измерений, и от принятых критериев реализма тут необходимо отказаться. Большой он художник, но причудливый. Во всяком случае, идей у него больше, чем образов, а придуманности, в известном смысле, нет у него никакой, и читателям не позволяет он ее подозревать, потому что гораздо сильнее, чем другие писатели, в своих лицах и сценах дает он только воплощение, объективацию своих личных ощущений и страстей. Все это – психология, его собственная психология в лицах, в живых иероглифах авторской исповеди; все это – большое откровение его беспримерной, испещренной и изборожденной души. Это она рембрандтовским светом или рембрандтовской темнотою своею прорывается сквозь всю нагроможденность фабулы в его романах, сквозь всю эту чехарду и чепуху событий, сквозь толчею и сутолоку идей и чувств, образующих какой-то шабаш ведьм.

Брат братьев Карамазовых, соубийца своих убийц, бес среди своих бесов, он только себя лично, свое солнце и свою ночь, свою Мадонну и свой Содом, выявлял в запутанном

лабиринте, в беспокойной ткани своих сочинений. Вьется по ним змеиная интрига, и любая семейная история свивается в неразрешимый узел с тайнами и приключениями; на каждом шагу – человеческие неожиданности и противоречия, «влюбленные друг в друга враги», превращения и скрещения чувств, психологические авантюры, психологические скандалы, толпа, толчея, нервный беспорядок, какой-то самум идей и разговоров, и вихрь событий и водоворот речей подхватывают вас, как щепку, и кружат, кружат, как бы смеясь над вашими испугами и трепетом обезумевшего ума, ошеломленной впечатлительности. Будто мечет перед вами Достоевский живой пасьянс из людей, перемешивает все человеческие карты, создает новый хаос. «Сам Толстой сравнительно с Вами однообразен», – писал ему Страхов. Но это потому, что космос вообще однообразнее хаоса. И часто разнообразное бывает безобразно. *Arts longa, vita brevis*, дела много, жизни мало. Как выражается одно из действующих, одно из страдающих лиц Достоевского, жизнь коротка для того, чтобы «не наскучить», ибо она – «тоже художественное произведение самого Творца в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения». И вот короткое «пушкинское стихотворение» жизни, этот классический сосуд, наш романист хочет заполнить возможно большим и возможно разнообразнейшим содержанием, т. е. преодолеть несоответствие между *arts* и *vita*, между избытком жизненного дела и кратковременностью самой жизни. И потому страницы Достоевского, по хаотическому избытку метаморфоз и случайностей, – какой-то внутренний Рокамболь, но именно внутренний, потому что внезапные сцепления происшествий, этот пестрый фараон фактов и катастроф, эти столкновения героев и явлений только соответствуют содроганиям его извилистой и переполненной событиями души. У него – не обычное течение жизни, не мирные встречи людей, а почти исключительно сцены и часто ссоры; он не боится писательских трудностей и нарочно создает такие коллизии, перед которыми у другого автора замерло бы в бессилии перо. У него совершаются нравственные поединки действующих лиц, и когда он сталкивает, например, Свидригайлова с Дуней, Кириллова с Верховенским – револьвер против револьвера, вы чувствуете, что это уже предел человеческой напряженности, что большего душа не могла бы уже вынести. Вы точно взобрались на крутую гору психологии, и об этом свидетельствует и самое сердцебиение, физическое и моральное, которым сопровождается ваше следование за Достоевским и которое отвечает на лихорадочные перебои его собственного сердца, бьющегося в его книгах. Мир посылает ему все свои волны и вибрации, мучит его обнаженные нервы, мир раздражает его. Порог раздражения лежит для него очень низко. Проницательный, зоркий, изощренно восприимчивый, подавленный грудой ощущений, которая валится на него от людей и вещей, новый Атлас, принужденный держать на себе всю ношу жизни, всю безмерность ее содержаний, он все замечает остро и болезненно; он видит каждое место, чувствует каждый час – и, мало того, нравственные часы его отсчитывают, бьют минуты, и ни одна минута не проходит для него бесследно и бледно; каждое мгновение важно, значительно, тревожно. Он не теряет времени даром, и душа его никогда не отдыхает. У него – безостановочность духа, у него – человек без субботы. Внутренняя жизнь его – сплошная бессонница. Сны он видит наяву. А бессонница – это бессмертие, потому что сон – это смерть. Бессмертный смертный, бессонный сновидец, он только и делает, что живет, – без промежутков сладостного небытия. Один день у него – прообраз всей жизни, и этот день-жизнь тянется ужасно долго, и на его длинном протяжении так много случается! У человека столько жизней, сколько дней. День пережить – не поле перейти. Полный необычайностей, чреватый драмами, в незаметных складках своих скрывающий зародыши поразительных происшествий, день Достоевского, черный, трагический, безумный, завершается ночью, когда не сновидения греются, а души кошмары – эта лошадь, которую секут по глазам, по самым глазам, это «дите», которое плачет от холода на руках у голодной матери, эта отвратительнейшая гадина, которая ползает по комнате. «Спокойной ночи» – вот чего нет у Достоевского. И днем, и ночью его

герои живут усиленно, слишком живут. Они страдают гипертрофией души. Автор смотрит на них сквозь некое увеличительное психологическое стекло, и потому в его глазах все разрастается, принимает чудовищные размеры, и каждая душевная линия, как бы мала она ни была сама по себе, оказывает роковое влияние на общее построение жизненного целого. Знаменитый писатель-психолог злоупотребляет психикой. В своей гиперболизации духа он не считается с тем, что, в сущности, людям души отпущено в меру. Он одержим глубиной. Он знает только третье измерение. Душевную жизнь берет он в максимуме – художник-максималист. Кипение духа доводит он до предельного градуса. Мы, читатели, готовы против этого протестовать: ведь обычно струны на нашем душевном инструменте натянуты совсем нетуго, и лишь в исключительные мгновения наша психика напряжена и обострена, а все остальное время она бледна, срединна, вяла, – почему же, почему автор «Карамазовых» эти струны, эти нервы натягивает именно туго, до последнего предела, до крайней возможности, так, что еще немного – и лопнут они, и разобьется, не выдержит хрупкое сердце человека? Люди мучатся у него своими убеждениями, все принимают близко к сердцу, вонзают в него дела, и мелкие, и крупные, и свои, и чужие, подвергают мукам себя и других. Они часто сидят безногие, парализованные и, физической неподвижностью еще более оттеняя свою моральную неугомонность, поедом едят свою душу. Житейские факты не проносятся для них мирной и безразличной чередой: жизнь вся, целиком, глубоко захватывает человека. Это характерно, что Лиза из «Бесов» хочет издавать книгу, в которой просто регистрировались бы события и случаи за год русской жизни. Сделать опись того, что происходит, вникнуть в газетные сообщения, которые мы обыкновенно читаем глазами рассеянными, – вот что было бы важнее и красноречивее всего. И Достоевский, пробираясь по душе темными, запутанными ходами, в то же время и в неразрывной связи с этим, взволнованно и страстно интересуется и внешними комбинациями действительности. Писатель въедчивый, художник-хищник, тигр слова, он жадно впивается в жизнь, придирается к ней, каждую мелочь ставит ей в счет, как будто нащупывает самый пульс ее, полемизирует с ней как с противником и точно состязается с нею в неожиданности выходов и выдумок. И все в ней ему на потребу. О, внимательно читает он газеты, жадно следит за судебными процессами! Особенно занимают его убийства, насилия, казни, и он до галлюцинации живо представляет себе смертный страх убиваемого, над которым склоняется убийца, безумное трепетание жертвы, ее ужас и тоску. Все эти замученные, зарезанные, задушенные теперь молчат; они никому не расскажут, что испытали в свои последние мгновения, и предсмертные стоны их заглушены рокотом бурлящей жизни. Среди шума и разговора живых кто думает о них, кто слышит молчание мертвых? Один Достоевский внемлет ему, и звучат в его сердце отголоски всех человеческих драм, и они никогда не становятся для него прошлыми. Он бродит по всем кладбищам мира, он заглядывает во все морги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.